Н.-В. КОМИССИЯ
ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Николай Гаврилович Чернышевский
1828—1928

Неизданные тексты, материалы и статьи

Под общей редакцией
проф. С. З. Каценбогена

САРАТОВ
1928

Чернышевский и Пыпин в годы детства и юности.

Отрывок из материалов В. Пыпина семейного архива.

В первой половине прошлого, XIX века, в глухом в то время городе Саратове проходило детство и юность Н. Г. Чернышевского и А. Н. Пыпина.

Они росли в одной тесносплоченной семье: матери их были родными сестрами и жили вместе. Старшая из них, Евгения Егоровна, мать Николая Гавриловича, по смерти своего отца, протоиерея Голубева, на пятнадцатом году выдана была за молодого учителя Гаврила Ивановича Чернышевского, который, женившись на ней, стал преемником ее отца в священнослужении и вошел в семью, в которой властно управляла типическая суровая женщина старого века Пелагея Ивановна, вдова скончавшегося протоиерея.

Гавриил Иванович Чернышевский, по своему развитию, стоял много выше окружавшей его среды и отличался при этом исключительной добротой и чуткостью души. Он бережно отнесся к своей юной жене, занялся ее образованием и был заботлив также и к ее сестре—тогда 5-ти летней Александре, выросшей под его непосредственным влиянием.

Когда Александре Егоровне исполнилось 15 лет, мать выдала ее замуж за Н. М. Котляревского, а по смерти его—ее, двадцатилетнюю вдову с тремя малыми детьми, мать выдала за Николая Дмитриевича Пыпина.

Оба брака, и Евгении Егоровны, и Александры Егоровны, были старинные, слаженные без предварительного горячего чувства. Но дружеское и искреннее расположение мужа и жены, взаимное их уважение и доброжелательность к окружающим, в соединении с простотой понимания семейных задач, определили прочный уклад ясной, хорошей жизни. Это была жизнь устойчивая, неторопливая, вдумчивая, крепкая силой внедрившихся навыков и убеждений, не подрывавшаяся ни отрицаниями, ни сомнениями.

Сестры не расставались и после замужества. Сначала жили все вместе, а потом, с увеличением семьи, Пыпины поместились во флигеле, на том же дворе. Жизнь Чернышевских и Пыпиных переплеталась самыми тесными и дружескими отношениями.

Гавриил Иванович, пользовавшийся всеобщим уважением и расположением в городе и во всей округе, был тем более в семье любимым ее главой и почитаемым патриархом.

Николай Дмитриевич Пыпин, скромный, работящий, любящий человек, войдя в дом, в качестве мужа Александры Егоровны, ничем не нарушил установившегося бытового уклада семьи и отдавал ей все свои заботы и труды *).

---

*) Детские воспоминания А. Н. Пыпина связывают обе семьи в одну. Такое же отношение видим мы и у Н. Г. Чернышевского, который 3 марта 1875 г. писал из Вилюйска: „Они (Пыпины—старики) не отец и мать мне, это правда, но когда две сестры живут вместе и любят друг друга и мужья их тоже, то дядя и тетка не многим рознятся от отца и матери в чувствах, с которыми вырастает человек" („Письма из Сибири", т. I, стр. 143).

В обеих семьях господствовал величайший интерес к книге. Гавриил Иванович был по тому времени человек очень образованный и чрезвычайно интересовался историей и литературой *). Как уже было упомянуто, Гавриил Иванович с большой готовностью обучал свою молодую жену Евгению Егоровну и сестру ее Александру Егоровну. Много он, конечно, дать им не мог, так как обе они были всецело подчинены своей матери, внимание которой было поглощено домашними и хозяйственными заботами, участия в которых она требовала от своих дочерей. Тем не менее любовь к чтению глубоко привилась обеим сестрам, и в особенности Александре Егоровне. Несмотря на свою большую семью, к которой Александра Егоровна относилась с неустанной заботой, у нее никогда, до глубокой старости, не ослабевал интерес к книге. Трезвый ум ее, хотя и не встречал в провинциальной глуши ярких и сильных впечатлений, тем не менее всегда помогал ей разбираться в прочитанном и укрепляться в самостоятельных, разумных и благородных суждениях. Унаследовав от матери глубину и суровость духовного склада, она росла и развивалась под влиянием выдержанного и в то же время кроткого Гавриила Ивановича. В этих условиях, незаметно для окружающих и для себя самой, она выработала в себе большую духовную силу, стала моральным авторитетом для домашних, и все от мала до велика привыкли уважать ее и подчиняться ее серьезному и глубоко гуманному отношению к жизни и людям.

12—24 июля 1823 г. у Евгении Егоровны и Гавриила Ивановича родился сын Николай. Это была великая радость и для родителей и для всей семьи. „Николя“ стал центром всеобщей любви и заботы.

Тихий, задумчивый мальчик привлекал к себе внимание и посторонних „Я нередко видал,—вспоминает саратовец Палимпсестов,—как Гавриил Иванович вел за руку своего малютку, идя из церкви, или сидел с ним на берегу широкой Волги, прислушиваясь к плеску ее волн. Врезались в моей памяти черты лица этого малютки, которого многие называли не иначе, как херувимчиком. Чистое, белое личико с тенью румянца и едва заметными веснушками, открытый лобик, кроткие пытливые глаза; изящно очерченный маленький ротик, окаймленный розовыми губами; шелковистые рыжеватые кудерьки; приветливая улыбка при встрече со знакомыми; тихий голос, такой же, как у отца... Таков был Н. Г. Чернышевский, проходя и отроческий возраст даже во время пребывания его в семинарии“.

Через пять лет после рождения Николи 25 марта 1833 г.—и у Пыпиных родился сын—Александр. Он не был первенцем у родителей, но был первым у них сыном, и можно с уверенностью сказать, что Александра Егоровна встретила его появление на свет с неменьшей радостью, чем Евгения Егоровна своего „Николю“.

Скромная жизнь, простые нравы ни бурных настроений, ни резких слов, ни излишней нежности—в такой обстановке протекало детство обоих мальчиков. Любовь и заботы проявились главным образом в той свободе, которая предоставлялась развитию интересов и склонностей детей, поскольку на то была возможность при скудости

*) По окончании курса в пензенской семинарии, он был оставлен там преподавателем и библиотекарем. Он основательно знал древние языки и даже понимал по-французски, что было в то время редкостью. Ему могло открыться ученое поприще. Но, когда по смерти в Саратове протоиерея Голубева, губернатор Панчулидзев обратился к пензенскому архиерею с просьбой назначить в священники этой церкви человека достойного и ученого, выбор архиерея остановился на Г. И. Чернышевском.

средств семьи и при обстановке тогдашнего быта. Все члены семьи Чернышевских-Пыпиных работали неустанно. „Оба отца писали с утра до ночи свои должностные бумаги... Матери с утра до ночи работали. Выбившись из сил, отдыхали, читая книги." Так много лет спустя в одном письме из Вилюйска (25 II, 1878) Николай Гаврилович рассказывал об обстановке своего детства. „Никто нас не „приохочивал", говорил он,—но мы любили читать. А кроме этого, мы жили себе, как нам вздумается... И росли мы, собственно говоря, как проводят время взрослые люди, т.-е. делали все, что нам было угодно". [1])

Игры с детьми соседей и дворовых, ютившихся на обширном дворе Чернышевских-Пыпиных, были лучшим развлечением мальчика Чернышевского и развивали в нем бессознательное чувство демократизма, столь типичное для разночинца. „С детства я любил играть в козны,—так у нас в Саратове называют игру в бабки,—вспоминал он впоследствии—и играл очень хорошо, потому что очень мало было товарищей, которые с таким пристрастием упражнялись в этой игре, как я. Я часто играл чассв по пяти сряду и утром и вечером каждый день. Мало было таких неутомимых, как я, в любви к этому занятию: большинство изменяло „living кознам" для пускания змеев, для игры в лапту, а я все играл в козны, иной раз с тремя, четырьмя сменами партнеров. По зимам я с таким же усердием занимался катаньем на салазках. Обыкновенно дети в мое время бросали эту забаву, когда доросгали до 11, 12 лет. Я катался лет до 14... играть весело со сверстниками. В 14 лет я уже не находил компаньонов сверстников". Когда Чернышевский был уже в философском классе, он встретил товарищей „с наклонностью к салазкам". Это было зимою 1845—46 года: „Большей части из нас было по 18, 19 лет, некоторым по 20,—читаем мы далее.—Мы катались каждый вечер, несколько месяцев,—иногда человек до 15,—и все на одних дровнях... когда бывало нас больше 10 человек, то клали поперек дровней доску, или что нам более нравилось, лестницу длиною аршина в четыре... мы катались от гимназии и, если удавалось перенестись не опрокинувшись через косые ухабы берега Волги и не завязнуть в огромных кучах снега на этом берегу, то катились довольно далеко на Волгу, через проруби, которые не представляли опасностей нашему экипажу. Длина поездки была обыкновенно в полверсты"... [2]).

Но уже будучи участником этих многолюдных игр со взрослыми товарищами, Чернышевский не забывал малышей „большого" двора и с увлечением руководил их играми,—зимой это было катанье на салазках или просто на обледенелых рогожах, летом игра в лапту, в „чижи" или пускание высоко взлетавших к небу бумажных змеев с трещотками.

Исключительные способности Чернышевского обнаружились очень рано. Ученье его началось дома, при непосредственном участии отца, всегда находившего время для занятий с сыном. Уважение к книге, царившее в доме, развило в мальчике раннюю страсть к чтению, привычка не расставаться с книгою даже за обедом и чаем осталась у Чернышевского навсегда, эта же привычка была у Пыпина (В. П.) „Любознательность его была сильная и разнообразная. То, чему он учился, он быстро схватывал и прочно сохранял, в чем помогала ему необыкновенная память" [3]). Пыпину припоминался он,

[1]) „Чернышевский в Сибири". Спб. 1913, т. III, стр. 47—50.

[2]) „Приложение к автобиографии". Литературное наследие, 1928, т. I, стр. 171—173.

[3]) Пыпин. „Мои заметки". Москва, 1910.

между прочим, за чтением старой латинской книги, напечатанной в два столбца мелким шрифтом, с которой он расстался, вероятно, тогда, когда прочел ее всю. „Впоследствии, когда мне случилось приезжать домой,—говорит далее Пыпин,—я видел эту книгу и мог ее определить: это было старое, первых годов семнадцатого столетия, издание Цицерона; помню, что он читал ее свободно, не обращаясь к словарю. Это, видимо, была одна из старых книг его отцовской библиотеки“.

„Но домашнее учение было, наконец, сочтено недостаточным. Отец думал направить сына на свое собственное поприще. Это был человек глубоко благочестивый и, без сомнения, этому поприщу он придавал великое значение. Поэтому той школой, в которую должен был вступить сын, была семинария, за которою дальше предполагалась духовная академия“ (Пыпин. Заметки).

Минуя низшие классы, Чернышевский поступил прямо в один из старших. Он скоро обратил внимание всех своей подготовкой и своими обширными и разнообразными познаниями. Во время уроков он имел обыкновение читать книгу или делать выписки из лексикона, для накопления знаний. Он знал, что за уроком не услышит ничего нового и что учитель обратится к нему лишь в крайнем случае, когда никто не сумеет ответить на вопрос. Сочинения его были блестящими. Вообще он стал гордостью семинарии.

Товарищи его любили: он относился к ним очень дружелюбно и охотно помогал им в ученьи, часто писал для них сочинения“. Все товарищи были мне приятели,—рассказывает сам Чернышевский;—человек десять из них были со мной задушевные друзья. Сколько раз мяли мы бока друг-другу в шуточной борьбе—счета нет; словом сказать, в классе и „бурсе“—куда я ходил чуть не каждый день для дружеской беседы—со мною церемонились так же мало, как со всяким другим. Но в гости ко мне ходили только двое или трое из товарищей, и то изредка; и надобно сказать, что они все не были из числа ближайших моих друзей: они были не больше, как приятели, но они не совестились посещать меня в моем семействе потому, что у них была приличная одежда и обувь. Ничто не может сравниться с бедностью массы семинаристов..' Помню, как покойный Миша Левицкий, не имеющий другого костюма, кроме синего зипуна зимой и желтого нанкового халата летом—помню, как тот первый мой друг не решался навестить меня, когда я недели три не выходил из дому, будучи болен лихорадкой; между тем мы с Левицким не могли пробыть двух дней не видавшись, и когда он не ходил в класс, я каждый день приходил к нему“ [1]). Семинаристы стеснялись появляться в доме священника видного прихода в городе. Левицкий, вероятно, жил в „бурсе“, т.-е. в общежитии.

Этот Миша Левицкий, рано умерший, был,—по словам Духовникова,—„талантливая личность, его живая натура не могла помириться с теми схоластическими приемами, которые тогда царили в семинарии“. С ним Чернышевский делился теми своими книжными и общими интересами, которые сам почерпал вне семинарской учебы.

„Кроме Левицкого и семинаристов бывали у него и другие сверстники, с которыми он любил проводить время в долгих прогулках и долгих разговорах. Это были молодые люди из того помещичьего круга, с которыми бывал знаком его отец, молодые люди с известным светским образованием, между прочим—университетским. В этих бе-

---

[1]) Чернышевский. Соч., т. IX, стр. 9-10.

седах затрогивались темы идеалистические и первые темы общественные (Пыпин. Заметки).

Дома товарищем Чернышевского скоро стал „Сашенька" Пыпин, хотя и младший 5-ю годами. Николю это старшинство делало не только руководителем игр Сашеньки с ребятишками „большого" двора,—он видя смышленность мальчика, стал вообще охотно проводить с ним свои досуги и оказывал серьезное влияние на пробуждавшиеся в нем умственные запросы. С тех пор Сашенька горячо привязался к своему „старшему брату", в непосредственном общении с которым рос и развивался.

Учиться Сашенька начал очень рано, первоначально под руководством матери, которая сразу поставила его занятия на деловитую почву. Деловитостью вообще была проникнута вся домашняя атмосфера. И Евгения Егоровна и Александра Егоровна в свободное от хозяйства время, всегда шили, а когда вязали чулок, быстро перебирая спицами, то не отрывали глаз от книги. Новые книги и журналы переходили из рук в руки. Николя Чернышевский также всегда был занят чтением или учебными работами. Не мудрено, что при таких условиях маленький Саша отнесся к своему учению очень серьезно. Еще до поступления в гимназию он, несмотря на разницу лет, начал вместе с Николей заниматься по-немецки у одного из саратовских немцев-колонистов. В общем же домашнее ученье Пыпина направлял сам Гавриил Иванович, а интерес к чтению поддерживался Александрой Егоровной и Николей, который заражал Сашу своей жаждой знания и своими возвышенными стремлениями. Нередко в часы досуга Николя читал мальчику Шиллера, Жуковского; Пушкина и направлял его внимание не только на красоту языка и художественные образы, но и на идейные богатства, рассыпанные в произведениях великих поэтов.

Наряду с этим внимание Пыпина привлекала прибрежная волжская жизнь, которая закипала с первых весенних дней, как только Волга освобождалась ото льда. С верхнего балкона Пыпиных открывался широкий вид на реку и заволжскую степь; по Волге медленно двигались суда вверх „к Макарию", приближаясь к городу, суда расцвечивались лентами, шла стрельба из небольших пушек, пестро приодевшиеся бурлаки затягивали бесконечные песни. Громадный весенний разлив, красота необозримых полей и заманчивая широта и разнообразие русской народной жизни заронили в душу Пыпина первые поэтические впечатления. С ними тесно связались фантастические образы сказок и поверий, богатый запас которых, оригинальных и цельных, развертывали в длинные зимние вечера две няни младших детей Пыпиных, „сохраняя весь традиционный способ выражений и, где нужно, свой речитатив и пение". „Деревенские разговоры [1]), конечно были пересыпаны элементами эпического поверья",— вспоминал впоследствии Пыпин. И если несколько книжная речь матери, Александры Егоровны, налагала оттенок сурового тона на весь характер домашнего говора, то образность выражений отца, Николая Дмитриевича, его речь, пересыпанная поговорками, прибаутками и загадками, с едва уловимым простодушным юмором была проникнута неиссякаемым народным творчеством, простым и безыскусственным.

Идеалом маленького Пыпина были гимназисты, и ввиду его стремления поступить поскорее в гимназию, его поместили туда, когда он не имел еще требуемого возраста—на десятом году.

---

[1]) В Аткарском уезде, где иногда жила часть семьи Пыпиных.

Ученье в гимназии пошло у Пыпина успешно и благодаря его способностям и исключительному трудолюбию.

Хотя среди учительского персонала гимназии и были люди довольно знающие и желающие добросовестно вести дело,—никто однако, не умел привязать к себе учеников, да к этому и не стремился,—преобладало отношение сухое и строгое; были и такие, которые плохо знали свой предмет. Но при охоте,—вспоминал впоследствии Пыпин,—учиться все-таки было можно". Недочеты гимназического преподавания восполнялись Пыпиным дома, по примеру Николи, который не удовлетворялся уроками в семинарии и всегда искал знания в книгах потом у него образовался и личный навык почерпать всякое знание из книги, и общение с книгой стало для него органической потребностью натуры.

Это было тем более важно, что вскоре Пыпину пришлось расстаться с своим ближайшим товарищем и руководителем: Николя уезжал в Петербург для поступления в университет.

Занятия в семинарии не удовлетворяли его, он мечтал о получении более широких научных знаний и, наконец, заявил родителям о своем желании итти в университет. „Отец, вероятно, понимал преимущества университета, но, сколько мне помнится,—вспоминает Пыпин,—должен был, очевидно, несколько переломить себя, когда уступал желанию сына". Начались долгие семейные обсуждения предстоящей поездки. Выбран был университет петербургский, вероятно потому, что там был один земляк и дальний родственник Чернышевских—А. Ф. Раев. Вся семья была взволнована от'ездом Николи в такой далекий город. „В нашем ближайшем кругу,—пишет Пыпин,—не было человека, имевшего какое-нибудь понятие о Петербурге. Это была неведомая страна, пребывание всех властей, с особенными нравами и великими житейскими трудностями, особенно для людей с очень небольшими средствами, без знакомств и связей... Наконец, Петербург был город очень далекий: железных дорог не существовало; ехать на почтовых надо было целую неделю (если ехать без всякого отдыха) и считалось дорого: поэтому обдумывался план путешествия на долгих. У меня осталось воспоминание об этом от'езде Н. Г., как об очень важном событии, в глазах не только моих, но и всех старших. Само собой разумеется, что Н. Г. не решились пустить одного: с ним поехала его мать и одна старинная наша знакомая средних лет". (Пыпин. Заметки).

От'езд Николи состоялся 18 мая 1846 г. Отец напутствовал уезжавших благословениями, домашние заливались слезами. Грустно было Сашеньке прощаться с дорогим другом.

Николя часто писал домой в течение длинного и скучного пути, не без юмора изображая всякие дорожные неудобства и мелкие приключения; „Милый друг и брат мой Саша,—писал он между прочим и Пыпину,—как ты находишь, поверят ли англичане, так тщеславящиеся своими скаковыми лошадьми, что у нас в России простые извозчичьи лошади, пара с 15 пудами клади, могут нестись с быстротою трех с двумя третями верст в час? А это факт, брат: именно с такой быстротой несемся мы... А знаешь ли, ведь года через три будет железная дорога из Петербурга в Саратов; не подождать ли уж ее? А то что тянуться с такой скоростью: ведь не раньше же дотянемся, а только бока натрудишь!" Но он признает достоинство и за медлительным тарантасом: „В комнате чуть захочешь прилечь—сейчас назовут лежебоком. А здесь я пользуюсь беспрекословно правом лежать 14 часов в сутки в повозке, а остальные на лавке в

избе—прелесть! Читать можно совершенно свободно". Веселым настроением были проникнуты шутливые письма Николи с дороги.

Осиротелый Сашенька скучал. Но как ни велика была его привязанность к Николе, около которого вращалось тогда главное внимание обоих семей, но отвлекали занятия, неторопливость провинциальной жизни, непривычка к письменному сообщению личных интересов, а главное, конечно, молодость (Пыпину было тогда 13 лет), и он иногда подолгу не мог собраться написать „старшему брату".

Чернышевский не забывал его, писал ему, вызывая на ответы в постоянной заботе направить и укрепить развивавшуюся отроческую мысль. И как бережно и любовно относился в этом отношении „старший к младшему", можно судить по дошедшим до нас письмам Чернышевского от этого времени. Одно из них особенно замечательно—это письмо от 1846 года. Оно является ответом на записочку брата, что времени с от'езда Николи из Саратова прошло еще так немного, что „писать нечего".

„Нечего писать!—восклицает Чернышевский:—да возможно ли только сказать это? Неужели ты во всю неделю не думал ни о чем, не делал ничего, ни одна новая мысль не пришла тебе в голову? В Саратове нет новостей, да если и есть, то они не занимательны ни для тебя, ни для меня, да ты и не знаешь их; нет новостей и во внешней жизни твоей: да кто же и требует от тебя таких новостей? Если уж кто и требует, так наверное не я. Посмотри на дерево летом: есть ли хоть одна минута, в которую не произошло в нем перемены к лучшему или худшему?"

„Останавливается ли хоть на миг развитие? -продолжает Чернышевский.—Так и душа человеческая, особенно в наших летах с тобою: не проходит дня, чтобы не развивалась насколько-нибудь наша душа: с каждым новым днем, в наши лета, если начинаешь понимать и постигать что-нибудь, что прежде было для тебя непостижимо, или начинаешь не понимать того, что казалось простым до того, что не над чем и голову ломать. Все равно умственные очи наши теперь ежедневно постепенно делаются сильнее и зорче, как изощрялось бы зрение, еслиб стал смотреть в зрительные трубы и микроскопы, выбирая друг за другом их все лучше и лучше. Смотришь простым глазом: движется что-то, а что—решить невозможно; берешь порядочную трубу: человек; еще получше: вот на нем такое и такое-то платье; еще лучшую: это вот тот-то твой знакомец; еще лучшую—и различаешь каждую порошинку на его платье, каждый его волосок: так с каждым днем теперь, при развитии души нашей, становится понятнее, ближе то, что прежде было непонятно: прежде ты смотрел, конечно, хладнокровно на эту точку, а теперь ты, узнавши в ней своего приятеля, интересуешься им, смотришь с участием, так знание возбуждает любовь: чем больше знакомишься с наукою, тем больше любишь ее. Теперь наоборот: смотришь на каплю воды, на листок зелени простым глазом: над чем тут задуматься? Без цвета, без вкуса, без запаху: берешь микроскоп, и эта капля, бесцветная, мертвая, оживает под ним, в ней видишь целый мир, миллионы существ, наслаждающихся и дорожащих бытием своим, защищающих и сохраняющих его: что тебе прежде было в этой капле? Капля, так капля и есть, что в ней толку, интересу? А теперь, как она интересна для тебя? Что было в ней непонятного, занимательного? А теперь сколько вопросов об этих существах у тебя в голове! Сколько трудных вопросов, сколько в ней темного почти всегда. И это интересует тебя, представляя тебе загадки и вопросы: так ясное и потому прежде

не интересовавшее нас, становится темным и потому самому интересным для нас при развитии сил души нашей... Ну, записал, да негде кончить теперь; если не скучно, то доведу до конца в следующем письме, а дело в том, что ум твой развивается, и потому везде являются для него новые интересы, а интересное для тебя может ли быть неинтересно для любящего тебя? Как же тебе не о чем писать: может у тебя не быть времени, охоты писать, но не может не быть предмета, о котором бы нечего писать к любящему тебя Николаю Ч.“.

Экзамены для поступления в университет были сданы Чернышевским отлично, и Евгения Егоровна могла с радостью написать мужу в Саратов: „Поздравляю, мой родной, с сыном-студентом“.

Тотчас по приезде в Петербург Чернышевский стал прежде всего удовлетворять свой интерес к книге. Он знакомится со всеми библиотеками. Множество книжных магазинов привлекает его внимание. „На Невском проспекте,—пишет он Пыпину,—кажется, в каждом доме по книжному магазину: серьезно, я не проходил и третью часть его, а видел, по крайней мере, 20-30 из них, да сколько еще пропустил мимо глаз!“ ...„Библиотека для чтения“ не удовлетворяла его, она, по его мнению, не стоила того, чтобы подписываться— „одни повести, романы, путешествия и театральные пьесы,—писал он отцу.—Серьезных книг очень немного: нет ни Герена, ни Шеллинга, ни Гегеля, ни Нибура, ни Раумера, нет ничего,—о существовании их Библиотека и не предчувствует. Только решительно и нашел я из истории и философии, что несколько сочинений Гердера и автобиографию Стефенса“.

Новые впечатления от университета и студентов-товарищей не заслоняли от Чернышевского его мысли о Саше Пыпине, о судьбе которого он не переставал заботиться. Услышав, что родители Саши подумывают о том, чтобы по недостаточности их материальных средств, отдать его на казенное содержание в закрытое заведение, он не на шутку взволновался. Он понимал, что поступление на казенный кошт закрывало мальчику в будущем широкую дорогу научной и общественной деятельности, потому что начальство могло направлять закончившего курс по своему усмотрению. „Папенька!—Вы отчасти видели по опыту, каков казенный хлеб, что стоит для нравственности жизнь на казенном! Но, поверьте, что бурса и грязные ее комнаты, и дурная провонялая пища—рай в сравнении с казенным учебным заведением! Сделайте милость, не советуйте отдавать Сашу; через это можно погубить всю его будущность и карьеру, и сердце его... Сделайте милость!“ Эта горькая чаша миновала Пыпина. Гавриил Иванович раз'яснил Пыпиным положение вещей, и они бросили мысль об интернате. Узнав об этом, радостный Чернышевский горячо благодарил своего отца.

Ученье Пыпина в гимназии шло своим чередом. Николя продолжал в своих письмах направлять его на вдумчивое отношение к предметам изучения. Если сначала он делился с ним путевыми впечатлениями или полушутя-полусерьезно излагал ему „новые и благородные мысли об улучшении дорог, экипажей и т. п.“, то теперь, когда его жизнь в Петербурге наладилась, он затрагивал вопросы уже серьезные, так например о том, „что до тех пор внесли русские своего в науку“? Увы, ничего,—говорит он. Что внесла наука в жизнь русских? Тоже ничего, она еще молода-с, всего полтора века-с. Да ведь в XVIII веке жили уже Декарт, Ньютон и Лейбниц, а это уже было через полтора же века по восстановлении наук в начале XVI века. А? Мы то что?

„Неужели наше призвание ограничивается тем, что мы имеем 1.500.000 войска и можем, как гунны, как монголы, завоевать Европу, если захотим? Жалко или нет бытие подобных народов? Прошли, как буря, все разорили, сожгли, полонили, разграбили—и только. Таково ли и наше назначение? Быть всемогущим в политическом и военном отношении и ничтожным по другим, высшим элементам жизни народной?.. Решимся же твердо, всею силою души, содействовать тому, чтобы прекратилась эта эпоха, в которую наука была чужда нашей жизни духовной. . Пусть и Россия внесет то, что должна внести в жизнь духовного мира, как внесла и вносит в жизнь политическую... И да совершится через нас, хоть частью, это великое событие. И тогда не даром проживем мы на свете“...

Такие слова Чернышевского, несомненно, глубоко запали в душу Саши, и он еще с большим рвением отдавался своим занятиям. Он так был поглощен ими, что не замечал, как летит время, и иногда снова не удосуживался писать своему далекому другу. Тот ему за это ласково выговаривал. Таково письмо от 27 сентября 1877 года.

„Ты не пишешь, значит не любишь“. Эти слова, конечно, очень задевали Сашу, ибо никого он не любил так, как Николю. „Ты говоришь, что тебе нечего писать. Вот это, к несчастью, и доказывает мне, что ты не любишь меня. Не думай, что я пишу это так: нет, это глубоко огорчает меня; ты не воображаешь, как глубоко“... Далее говорится снова о жизни внешней, в „которой нет ничего замечательного и о которой писать нечего“. „Но разве то жизнь в существенности? Конечно, есть такие несчастные люди, для которых внешняя жизнь составляет всю жизнь—я знаю, что ты не можешь принадлежать к числу этих жалких созданий. Есть жизнь другая, жизнь внутренняя, душевная. Это-то и есть истинная жизнь. В ком есть она, тот занимается внешней жизнью и заботится о ней лишь постольку, чтобы она не мешала внутренней жизни. Так все заботятся о здоровьи только настолько, чтобы его состояние не мешало нам наслаждаться жизнью. Кто им не дорожит? Кто захочет расстроить его? Но кто же и поставляет все свое счастье в нем“? Одним словом, жизнь внутренняя—это главное, единственное, можно сказать. Вот эта-то внутренняя жизнь и занимает тех, кто нас любит, и ею-то мы и делимся с теми, кого любим. Не может быть, чтобы она не кипела в тебе. И есть потребность делиться ею с кем-нибудь, со всяким, кого любишь... Можешь ли ты предполагать, что я не пойму тебя? Нет, потому что мое положение слишком сходно с твоим. Думы твои—все перебывали в голове у меня; желания твои, чувства твои—я их знаю: они или теперь еще во мне, или были во мне и оставили следы, и не только возможность понять, но даже невозможность не понять их и не сочувствовать им в другом... Что же может тебе мешать в этом естественном стремлении делиться, рассказывать мне твою жизнь? Конечно, одно из двух. Или ты не любишь меня, или думаешь, что я не люблю тебя. Напиши же хоть это, которое же именно, первое или второе... Прощай, целую тебя“.

Было, однако, еще третье—это унаследованная Пыпиным от матери величайшая сдержанность в выражении своих чувств; эта сдержанность, впоследствии казавшаяся многим суховатой суровостью, была, в сущности, просто застенчивостью и нарушалась им лишь в самых исключительных случаях. У мальчика Пыпина она, несомненно, была здесь налицо.

Переписка Чернышевского и Пыпина, шедшая сначала урывками, скоро стала довольно правильной. По этим письмам видно, что

Чернышевский уже смотрел на Пыпина, как на юношу с нароставшим интересом к науке, по натуре здорового, спокойного, не чуждавшегося шутки, но проникнутого ясным сознанием человеческого достоинства и долга, и он поддерживал в нем стремление к развитию этих свойств путем упорного и вдумчивого труда.

С каждым годом их переписка становилась серьезнее и поддерживала Пыпина к рациональному восполнению пробелов гимназической науки. „В письмах,—вспоминает об этом времени Пыпин,—он (Чернышевский) особенно рекомендовал историю,—с тех пор я узнал имена Раумера, Шлоссера, хотя в провинции не мог иметь их в руках. Часто писал он мне длинные письма по латыни, чтобы укрепить и меня в латыни, при том он касался в письмах таких предметов, о которых было менее удобно писать по-русски; на латинском языке он тогда уже, во второй половине сороковых годов, давал мне понятие о крестьянском вопросе; в связи с историей, говорилось о „glebae adscripti" и „terrae firmi" (Пыпин. Заметки).

Ясно, какое существенное оживление вносила эта переписка в шаблонную гимназическую учебу Пыпина. Преподаватели гимназии, по выражению Юдина,—„как канцелярские чиновники, отсиживали в классах положенное число часов и спешили домой, ничуть не заботясь о том, принесли ли они пользу учащимся или нет". И только по временам освежающую струю вносили иногда так называемые „литературные беседы", куда ученикам VI и VII классов представлялись сочинения на избранные им темы; сочинения эти прочитывались вслух и сообща обсуждались. К составлению своих сочинений для „бесед" (эти сочинения, с замечаниями преподавателей, отсылались в учебный округ) гимназисты старательно готовились и читали книги вне обычной сухой классной литературы. Темы бывали самые разнообразные, и в выборе их воспитанников не стесняли [1]).

Занятия в гимназии шли у Пыпина все время очень успешно. Стало приближаться время окончания курса Вопрос о поступлении в университет был для него делом решенным. И дома, и в гимназии шли об этом непрестанные разговоры. „Итти в университет для большинства было не легко. В тогдашнем быту, при дальности расстояний, например, путешествие в Москву из Саратова при хорошем состоянии дорог и езде на почтовых требовало пять дней, при захолустной неподвижности, при скромных средствах семьи, самая поездка было дело не легкое; не легко было и содержание студента в течение четырех лет".

В семье Пыпина, несмотря на всю трудность и стесненность в средствах, не возбуждалось никаких сомнений в необходимости поступления его в университет.

Большое значение в решении этого вопроса, несомненно, имело и то обстоятельство, что, за три года до окончания Пыпиным гимназического курса, в университет уехал Николай Гаврилович и в своих

---

[1]) Так, например, в январе и феврале 1848 г. на „беседы" были представлены следующие сочинения: учеником Мачинским—„О русских народных песнях", Ликвонским—„Несколько слов о критике", Сергеем Захарьиным, братом известного впоследствии врача-профессора—„Разбор поэмы Лермонтова Хаджи Абрек", Лебединским—„Несколько слов о честолюбии", Павлом Ровинским—„Несколько слов об изящном", Вакуленко „О нашествии монголов на Россию" и, наконец, Александром Пыпиным—„О влиянии варягов на быт славян". Лучшим сочинением округ признал последнее. Помощник попечителя Лобачевский (в отношении от 17 декабря 1848 г., № 5198) дал о нем такой отзыв: „Сочинение заслуживает похвалы по мыслям, изложению, подробности и трудолюбию автора".

письмах домой беспрестанно говорил о необходимости поступления „Сашеньки" в университет, притом непременно в петербургский. Но как ни настаивал на последнем Чернышевский, однако желание его осуществилось не сразу: сначала Сашеньке пришлось поступить в университет казанский.

Отчасти пугала, вероятно, дальность расстояния от Петербурга, отчасти это произошло и потому, что как раз в это время состоялось известное распоряжение об ограничении в университетах комплекта студентов тремя стами, и трудно было рассчитывать попасть в столицу.

Пыпин окончил курс гимназии в 1849 году первым из отличнейших учеников, но тем не менее, по тогдашнему правилу для поступления в университет ему предстояло держать особые экзамены.

Маленький, худощавый 16-тилетний юноша, на вид еще совсем мальчик, простился с родной семьей. С детства запавшие в душу впечатления красоты народного творчества и широкой Волги навсегда сроднили его с поэзией родной старины, которая трогала и умиляла его. Но наряду с этим он вдумывался в тяжелые и мрачные стороны народного быта. Крепостное право и рекрутчина издавна производили на него сильное впечатление; в глубине бытовых условий раскрывалась безысходная темнота и бесправие, и в нем стало складываться убеждение о необходимости просвещения, как одного из величайших средств освобождения человечества от бедствий. И он шел к его источнику в полном сознании важности и серьезности вступления на новый путь самостоятельной работы.

Поехал Пыпин в Казань самостоятельно. В семье уже привыкли к тому, что Чернышевский приезжал один на каникулы в Саратов и ездил обратно в Петербург, и перестали относиться к поездкам этим с тревогой, как к исключительному событию, как то было в первое отправление Н. Г. в университет.

Для „Сашеньки" нашлись и знакомые попутчики, а в самой Казани были земляки-товарищи и хороший знакомец семьи, профессор казанской духовной академии Г. С. Саблуко́в.

Экзамены на получение права поступления в университет Пыпин сдал прекрасно, причем обратил на себя внимание профессоров своими обширными знаниями и солидной подготовкой. 29 августа он уже сообщал в Саратов: „Нынче ко мне уже приносили повестку от инспектора студентов -удостоенным прин ятия в студенты, чтобы явиться завтра к нему".

Таким образом состоялось поступление Пыпина в казанский университет.

Обращаясь впоследствии мыслью к своему пребыванию в казанском университете, Пыпин писал, что этот университет, казавшийся ему „храмом науки", „в те годы был, вероятно, одним из самых скромных провинциальных университетов".

К летним каникулам выяснилось, что к следующему академическому году Пыпин не вернется в Казань, так как переход его в петербургский университет был уже решен. Его родители склонились на горячие убеждения Н. Г. Чернышевского о переводе в Петербург Сашеньки, к которому он продолжал проявлять исключительную любовь и нежную заботливость. Чернышевский словно чувствовал на себе обязанность не оставлять Сашеньку одного среди разнообразных влияний провинциальной молодежи и поддержать его в трудные минуты образования духовного склада юноши. И он, как уже было упомянуто, слал письмо за письмом то к своим родителям, то к „дяденьке и тетеньке", упрашивая их отпустить Сашу в Петербург.

Как принимались настояния молодого Чернышевского дома? Несомненно, обдумывали, примеряли, обсуждали. „Милый Сашенька,— писала по этому поводу Александра Егоровна 20 февраля 1850 г. в Казань,—петербургские (т. е. Чернышевский и Терсинские [1]) опять пишут о тебе, чтоб ехал, говорят, что лучше всего учиться там". Позже, 8 апреля того же года, очевидно, подчиняясь настойчивым просьбам Николая Гавриловича, Александра Егоровна опять писала сыну: . . . „о переходе в Петербург мы уже писали тебе и Николеньке, что всего лучше это будет решить при свидании, но может быть ему нужно знать ранее, чтобы исхлопотать позволение вступить тебе в университет; ведь, конечно, мы согласны, чтобы ты учился там, но дело вот в чем, не нужно ли предварительно тебе исключиться из казанского университета,—так это ведь для тебя невыгодно, что если там не примут, а здесь ты уже лишишься возможности продолжать учение, так и для нас будет огорчительно, что ты должен остаться ни при чем, да и самому тебе неприятно будет проводить время кое-как, а теперь ты уже занимаешься своим делом, зная, что конец принесет тебе пользу. Так ты узнай, возможен ли переход без исключения, а по приеме только уже дадут в ваш университет знать, что переведен. Уведомь нас, на каких это правилах делается, а Николеньке ты можешь также написать, что рад бы быть вместе с ним, но только, чтоб совсем остаться без занятий; я правил этих не знаю и потому спрашиваю тебя".

Очевидно, вопрос о переходе в петербургский университет был решен актом доброй воли и решимости Сашеньки. На семейном совете участвовал и приехавший в Саратов Николенька, которому, несомненно, принадлежала первенствующая роль в этом деле.

Убеждения юного Чернышевского оказали свое воздействие на обе семьи, т. е. на целый ряд серьезных и рассудительных людей, и привели их к решению отправить Сашеньку в Петербург. К этой поре Николай Гаврилович уже окончил университетский курс и представлял собой, сравнительно с Пыпиным, человека сложившегося, с определившемся характером и волей. Пыпин, хотя уже проявивший задатки твердости и силы нравственного уклада, казался перед ним совершенным ребенком, в котором намечались, однако, серьезные научные интересы.

От'езд Сашеньки в далекий и богатый всякими неожиданностями Петербург, которого так опасалась старая провинциальная жизнь, волновал всех близких, хотя и ехал он в родственную семью Терсинских, в сопровождении Николи, на которого, естественно, возлагалась забота о младшем брате.

День от'езда настал.

„Так мы собрались и плакали, наконец, в 8 час. поехали,—записал Чернышевский в своем Дневнике (15 авг. в 11 ч. утра 1850 г.). Нам надавали на дорогу с'естных припасов (варенья, грецких орехов), которых я не хотел брать, а которые между тем доставили нам развлечение в дороге; однако в дороге я, чтобы поддержать свой характер, сначала не хотел есть их, после, конечно, ел и с большим удовольствием, однако думая о том, что всегда эти и другие (в более важных вещах) противоречия с моей стороны желанию моих родителей были неосновательны и только клонились к моей же невыгоде и огорчению их.

[1]) Чернышевский жил тогда у Терсинских—Ивана Григорьевича и Любови Николаевны, дочери Александры Егоровны Пыпиной от первого брака. Любовь Николаевна особенно любила Николая Гавриловича, с которым была почти одних лет и вместе росла.

„Наконец поехали из дому в 8 час. Маменька села с нами на телегу.

— „Вот как прекрасно,—сказала она,—так бы и поехала с вами до Москвы, ничего, решительно ничего, прекрасно и спокойно“— и вообще в ней было так много грусти, сожаления, что мне стало жалко, и я сидел в каком-то онемении, так что почти ничего не чувствовал и мало думал от избытка чувств, и тут мне, дураку, не пришло в голову сказать решительно, что я остаюсь в Саратове.

„Наконец, расстались со слезами на глазах. Едва мы съехали от того места, где расстались, на две версты (это было за мужским монастырем) и мне стало более не видно наших, на которых я постоянно смотрел, пока было видно, как я понял свою подлость, бесчувственность, что оставляю своих в Саратове в одиночестве, что как негодяй покидаю маменьку в жертву тоске, и я раскаялся, и мне стало так, что хоть бы сейчас воротиться назад. Я думал, думал об этом две первые станции и в моей голове созрела мысль хлопотать в Казани о назначении меня учителем в Саратовскую гимназию, как это я сделал раньше в Петербурге, и это меня успокоило, как будто я получил уже это место; но пока я дошел до этого решения, я был грустен, сердце мое сжималось, теперь я успокоился... „Что можно будет сделать, сказал я, я сделаю, и если не ворочусь в Саратов, это будет не моя вина, а вина невозможности“ —и чтобы еще более утвердиться в этой мысли, я на другой день рассказ-л ее Сашеньке...

„Так мы в этих мыслях доехали до самой Казани. Угрызения совести мучили меня, и я, чтобы развлечься, все болтал с Сашенькою, читал ему различные стихи, так что перечитал все, какие знал наизусть, разговаривал в известном силлогистически-софистическом роде о различных предметах, а все-таки сердце мое было тяжело“...

В Казани надо было остановиться для получения Пыпиным документов из университета, что представило некоторые хлопоты, он поспешил сообщить об этом родителям. Одновременно об этом отправил и Николай Гаврилович письмо следующего содержания: —„Казань, 28 июля 1850, вечер.—„Милый дяденька! Сашенька уже написал вам о своих похождениях по казанским университетским мытарствам и о том, какою приятною для него вестию закончились эти похождения—что петербургский университет сам выписывает его. К 8-му или этак августа надобно предполагать увидят его удивленные очи град Петров, который готовится встретить его с распростертыми об'ятиями. По крайней мере за троих можно ручаться уже, что они примут его с радостью: Любинька, Иван Григорьевич и попечитель университета Мусин Пушкин. Даст бог, найдутся скоро и другие“.

Затем путь лежал на Нижний и Москву.

В Москве путешественники остановились дня на два у знакомых, в семье священника Колумбова. Здесь Пыпин вместе с Чернышевским побывал в семье священника Клиентова. Чернышевский навещал Клиентовых при каждом своем посещении Москвы. К этой семье у него был особый интерес: его воображение занимала одна из дочерей Клиентова, Александра Григорьевна, старинная приятельница жены Герцена. Это была, повидимому, очень развитая девушка, несколько надломленная тяжелой семейной заботой и личным незавидным положением. В это время Чернышевский переживал пору наиболее бурного, хотя и сдержанно прорывавшегося наружу, чисто романтического увлечения идеями социального равенства и будущего счастья людей. В Александре Григорьевне он нашел внимательную и чуткую собеседницу, в душу которой он особенно хотел заронить семена

своего настроения. Присутствие Сашеньки при этих разговорах мешало Чернышевскому: „Не мог почти говорить свободно, потому что был везде с Сашею и сидели все вместе“ [1]).

Будучи чрезвычайно искренним и близким со своим двоюродным братом, рассказывая ему все, что могло интересовать его из области науки и литературы, Чернышевский, однако, в ту пору сдерживал при Сашеньке пыл своей революционности, видимо опасаясь повлиять на юношу горячностью своих крайних стремлений.

В своих позднейших воспоминаниях Пыпин довольно подробно описывает свое первое путешествие из Москвы в Петербург. Это описание вполне совпадает с его дневником 50-го года, о существовании которого он совершенно не помнил. Дневник этот случайно нашелся в 1906 г. среди старых саратовских писем. Он естественно отличается и большей непосредственностью рассказа и значительно большим обилием подробностей, а некоторые страницы проникнуты даже тем несвойственным стилю Пыпина меланхолическим лиризмом, который, при всей сдержанности, обнаруживал в его натуре и поэтическую отзывчивость на красоты природы—отличие его в этом отношении от Чернышевского—и легкие романтические грезы о П.,—литера, под которой едва-ли можно подозревать Петербург. С кем то может быть было грустно расстаться застенчивому юноше, и о ком-то он много думал, и едва ли не к этому образу первой юношеской привязанности относится типичная лаконическая фраза: „думал—известно о чем думал“. Нельзя не отметить и того, что некоторые подробности путешествия так резко запечатлелись в памяти его, что в своих заметках через 53 года он говорит о них почти тем же тоном и почти в тех же выражениях, как когда то в своем дневнике.

Во время пути Чернышевский рассказывал Пыпину преимущественно о том, что, естественно, должно было всего более интересовать молодого студента—об университете и читаемых там курсах. Из рассказов Чернышевского Пыпин познакомился и с характеристиками профессоров, которых предстояло слушать, и с университетскими обычаями. Чернышевский в то время особенно высоко ставил И. И. Срезневского и проявлял значительный интерес к славянским наречиям. Собственные сведения по этому предмету Пыпин называл „невеликими и немного смутными“, и в дилижансе он с особенным любопытством слушал читавшиеся ему Чернышевским на память отрывки из Мицкевича, из Краледворской рукописи, Любушина суда... „Рассказы прерывались шутками и шалостями“. Этот небольшой отрывок из дневника так ярко отражает склад и настроение Пыпина в то далекое время, что мы приводим его целиком.

„Дневник за дек. 1850“.—Декабрь.—Приехав сюда в Петербург, я начал было писать не то, что дневник, а вроде этого, но содержания, даже цели не было тогда никакой; так для прогнания скуки; поэтому я скоро бросил его. Теперь опять принимаюсь: может быть на этот раз дневник мой пойдет как должно. Ворочусь немного назад и вспомню, как я приехал сюда, и как здесь жил до сих пор. В конце июля мы выехали с Николей из Саратова. Не стану вспоминать тех мыслей, которые толпились тогда в голове моей, скажу только, что одна мысль о П. и о своих не выходила у меня из головы; за этой мыслью тянулись другие, которые были впрочем только вариациями на эту же тему. Николя также был сначала не весел; заметно было что ему жаль было оставить тетеньку в такой тоске. Он думал не

[1]) Чернышевский, дневник, 19 августа 1850 г. „Литературное наследие“ 1928 г

долго: на другой день я уже догадался из его некоторых слов об его плане просить в Казани у Молоствова для себя места. Дорога наша шла своим чередом; Николя для сокращения времени начал со мной софизмировать об разных предметах. Так мы доехали до Казани, без всяких особенных приключений. В Казани мы оставались очень недолго—полтора суток—для того только, чтобы окончить мои дела: Николенькины не удались, потому что не было в это время в Казани Молоствова, а без него толку никакого нельзя было добиться. В Казани сговорились мы с Мордовцевым встретиться, но сколько раз ни заходил я в университет, всегда Дементьев говорил мне, что никто меня не спрашивал: это было мне очень неприятно, очень жалко. Мордовцев приехал только на другой день. Между тем, как я ходил в университет по своему делу, Николя отправился в контору дилижансов Коровина, чтоб взять там места до Нижнего. Места были взяты: нам приходилось ехать с какой-то дамой—ни я, ни Николя не знали: я думал, что вот по крайней мере, не скучно будет в дороге, можно будет поговорить в досужную минуту. Но как я был обманут: эта дама была Л. И. Л.—старушка лет пятидесяти почти или шестидесяти.

„Мы выехали из Казани вечером часов в пять или шесть на другой день после того, как приехали. Ехать было покойно довольно: первый же вечер был просто чудный: время прекрасное, местоположение на дороге по берегу Волги, очень хорошее; мы ехали левым берегом Волги: иногда она открывалась нам вдали беловатой полосой, то пряталась за кустарником береговым и лесом, иль пригорком, и тогда только противоположный гористый берег ее, всегда почти покрытый лесом, отделенным отвесом горы, показывал нам то место, где мы должны были ее предполагать. Но недолго я любовался этой, действительно прекрасной картиной: мы под'ехали к перевозу. Мы снова подошли к Волге после двадцативерстной разлуки с нею; в этом месте она была гораздо уже, нежели под Казанью, горы сдавили ее и этим ускорили ее течение, но перед этим узким местом она образовала обширный залив, в котором прекрасно отражалось чистое небо и темные берега. Здесь, на перевозе, мы в первый раз встретили господ персиян, бухарцев и индийцев, с которыми после много встречались по дороге до Нижнего. Переправа наша продолжалась довольно долго: проезжих было несколько кибиток и экипажей заведений Коровина. Пока перевозили наших предшественников, я любовался этим прекрасным видом, который тут открывался. Прекрасный вечер. Волга была спокойна, солнце уже закатывалось, перевозочные лодки ездили взад и вперед; здесь, на берегу, ужинала толпа мужиков-перевозчиков, которые уж отправили свою очередь. Везде движение, шум, везде был слышен живой разговор с остротами Наконец пришла и наша очередь; мы переехали Волгу благополучно. Но на другом берегу нас ожидало испытание: там, на пространстве около версты, был такой глубокий песок, что не было почти возможным ехать: лошади могли сделать только несколько шагов сряду и уж останавливались усталые; до самой ночи продолжались эти муки; едва мы в'ехали в лесок, которым оканчивался песок, ночь уж наступила с своей темнотой. Ничего не было видно по сторонам дороги, когда я выглядывал из экипажа: только темные очерки деревьев рисовались неясно, да светились звездочки на темном небе. Ничто не напоминало о дороге, кроме стука экипажа и крика ямщика—достаточное напоминание; казалось, что в каком то новом неведомом царстве очутился я в этой мрачной картине, которая тогда рисовалась

перед моим воображением. Мечты мои кончились тем, что я заснул.

„Так начал я путешествие свое в ту далекую страну, где, бог знает, счастье или несчастье меня ожидает. Путешествие наше совершалось спокойно: Николя толковал попрежнему со мной о разных предметах; на другой день по выезде из Казани мы уже узнали, какова наша спутница. Я, как человек молодой или младший перед Николей, не мог заслужить ее доверенности и потому она, как только я пересел от нее дальше, начала с Николей разговор о разных вещах; мне вовсе не интересны были ее росказни, потому что еще в первый вечер она говорила такие вещи, которые не совсем с выгодной стороны представляли ее. Я не слушал их разговоров: мысли мои были за тридевять земель в тридесятом царстве; я думал тогда — ну, известно о чем я думал. Они между тем говорили — некоторые слова долетали до моего слуха. Я сперва не обращал внимания на них, но наконец, они показались мне интересными; я стал вслушиваться и кончил тем, что прилежно стал слушать рассказ старухи. Пересказывать его незачем, да я уж и не упомню вполне: — только главное обстоятельство удержалось у меня в памяти — вероломство ее мужа, который два закона разрушил. Она рассказывала с пафосом необыкновенным, а главное, что ей было оскорбительно, что муж ее связался с простой солдаткой — унтер-офицершей, — ну на что это похоже в самом деле? Этот эпизод весьма характеристичен, что о нем нечего больше говорить. Такая спутница, наконец, должна была надоесть, и надоела действительно.

„Дорога до Нижнего прошла таким образом в толках с Николей, часто на латинском языке, чтобы не показать достопочтенной даме, что она служит предметом наших суждений. 1 августа кончилось это наше путешествие через землю чуваш и черемисов. Утро этого дня встретили мы уже в Нижнем: часа в три или четыре приехали мы к Оке, но мост не был еще наведен, и мы должны были стоять на этом берегу. Николя между тем ездил на ту сторону и узнал, где Коровинская контора. Мы, наконец, приехали туда и пошли с Николей в почтамт, чтобы достать место в почтовой карете до Москвы. Место было, но только через два дня; мы должны были ждать. Между тем Николя пошел в город, чтобы узнать местопребывание Михайлова, а я воротился домой в контору. Но нужно было пристроить и Л. И., — места в дилижансе или в почтовой карете ей нельзя было достать, потому что у нее на это было мало денег. Сколько ни убеждали ее и Николя, и я, и мальчик из конторы, она все хотела ехать в дилижансе. Наконец, Николя пошел и достал ей место у троечных, насилу могли втолковать ей, что иначе сделать было нельзя.

„Михайлов был отыскан, хотя с большим трудом, потому что Николя перемешал фамилию его дяди и вместо Григорьева искал какого-то Максимова. И отправивши и сдавши Л. И. на руки ямщиков, мы с Николей поехали к Михайлову. Нас встретила горничная тетушки Михайлова и проводила к нему в комнаты, но за усердие получила побранку барыни, которая не совсем ускользнула от нашего слуха.

„Михайлов[1]) встретил нас очень дружелюбно: он мне вообще очень понравился. Сейчас начался, конечно, живой разговор, в котором было перебрано все, что только нужно было ныне передать друг другу, о чем потолковать, что обсудить. Скоро пришел к Михайлову Веселовский, о котором я уже прежде несколько раз слышал от Якоби. Веселовский — славный малый, но чрезвычайно отсталый по

[1]) Михаил Ларионович.

своим идеям, так отзывается о суждениях его Михайлов; он читает Байрона, Диккенса и хвалит Загоскина—это две вещи несоединимые. Явился к Михайлову и Якоби, мой товарищ, всегда одинаковый, всегда поднимающий нос, хотя и не показывающий вида, что это делает. Не люблю я его.—Михайлов пустился в воспоминания о петербургской жизни, как он, только приехав туда, жил на большую ногу, занял квартиру на Невском у француза, прежнего его гувернера, оказавшегося свиньей. Мало по малу делишки его плошали: с Невского он перешел на Гороховую, потом спускался все ниже, ниже к концу Вознесенского проспекта—когда дела его приняли окончательно скверный ход: подкрепления деньгами прекратились, потому что у него умер отец. В этих стесненных обстоятельствах явился, как называл его Николя, американский дядя из Нижнего и поддержал погибающее семейство в лице Михайлова. Тогда Михайлов был принужден покинуть Петербург и перейти на жительство в Нижний, где поступил на службу в Соляное правление под начальством Якоби. Вспомнил Михайлов и об эротической части жизни своей, о Жозефине и еще о ком то, о своей квартире и своих соседях или товарищах по квартире; все это с подробностями чрезвычайно любопытными. Хотя все, о чем они с Николей говорили, было мне известно, но все-таки это было мне очень интересно;—вспоминали о старом и об университете, и о своих знакомых, товарищах, профессорах, обо всем. Наконец, разумеется, дошло и до политики: здесь опять толки. Литература также была не последним предметом разговора,—говорили и о собственных сочинениях Михайлова: он прочитал нам свои комедии—„Тетушка", „Дежурство" и отрывок—первую главу—из тогда еще не оконченного романа или повести „Адам Адамыч". Все это продолжалось только два дня нашего пребывания у него. Михайлов живет у своего дяди, советника соляного правления, кажется. Он советник, как и все советники: средних лет, полный, нельзя сказать, чтоб толстый, с полными щеками, румяный, на аппетит не жалуется. В это же время, как мы были у Михайлова, приехал к нему еще какой то родственник—лицо также замечательное (замечательным его можно назвать, напр. в таком же отношении, как Ноздрева—историческим).

„На третий день по приезде в Нижний, мы с Николей выехали в Москву. Мы с Николей были одни в карете, толковали свободно и о дружбе и о всем. Он то рассказывал что-нибудь, то читал стихи, то опять начинал софизмировать.

„В Москве мы были на третий день по выезде из Нижнего: вся почти дорога с обеих сторон ограничена лесом; шоссе было гладкое, езда очень спокойная. В Москве мы остановились в почтамте. Николя пошел к Колумбовым *). Когда он воротился, мы поехали с ним туда и там остались на все время нашего житья в Москве. Мало гуляли и ходили мы в Москве, впрочем были и в Кремле, и на Тверской, на Кузнецком мосту, на бульварах, на Москве-реке. Раза два были у священника И. С. У них было не скучно. Но вообще время в Москве прошло очень скучно: воспоминания совсем другого рода лезли в голову... Тут, у Колумбовых, был также однажды Переверзев, сын бывшего губернатора саратовского, человек не лишенный глупости. У них же познакомился я с одним господином, который служит у М. К. чем-то вроде правителя канцелярии; он, как и все чиновники, находящиеся в близком отношении к начальникам, был в близких отно-

*) Колумбов Кирилл Михайлович,- прокурор московской губернской гражданской палаты.

шениях и с делами домашними,—за обедом должен был ухаживать за детьми, ходить иногда за прислугой и т. п.

„Мы выехали из Москвы вечером, как почти всегда скоро проехали мы Москву. Шоссе тянулось впереди нескончаемой линией. Петровский дворец и дачи остались за нами, пошли деревеньки, станции—на каждом шагу. Я уснул, и только перед Тверью за несколько верст проснулся. Скоро шла дорога. Много было и однообразия и разнообразия в ней. С нами ехали различного рода господа: и генерал, который, кажется, везде старался приобрести популярность, всюду совался: нужно ли было колесо починить, или лошадей запрягать, или просто потолковать с кондуктором; он был невысокого роста, рябоватый и постоянно бегал и при этом как-то особенно выделывал ногами. Был и офицер, уж немолодой и не столь бойкий, как генерал, но также, как и тот, оправдывавший слова И., что все офицеры (он, разумеется, тут говорил не столько про этих старых господ, а про молодых офицеров)—боги Олимпа в первые времена христианства, когда Аполлоны Бельведерские, Юпитеры и Марсы назывались болванами; была здесь и аристократия—напоминающая венские сливки. Многие из путешественников были суб'екты очень любопытные, для которых нужно только Гоголя или кого-нибудь другого в его роде; Диккенс прекрасно бы обрисовал их.

„Мы доехали до Новгорода: какое чувство пробуждается при виде этого упавшего города, который теперь еще более упадет, находясь в стороне от московской ж. д.; это сделает его совершенно лишним, ненужным городом, да и теперь, правда, ему нет много выгоды от этой езды; он не поправляется до сих пор. А когда-то этот город был в несколько раз больше нынешнего, когда-то на этих теперь пустых полях около Новгорода кипела также жизнь, какой не было даже и в столицах земли русской—Киеве, Москве; когда-то здесь жил народ богатый, сильный, предприимчивый, свободный, везде хотевший исполнения его воли; когда-то здесь протягивались концы Новгорода Великого со множеством церквей и иноземных храмов; здесь происходили буйные веча, где часто народ, не сумев согласить себя словом, соглашал мечем и здесь происходили страшные битвы; и этот Волхов столько тел унес в себе—людей ненавистных народу; и эти стены, эта крепость когда-то была местом, где Новгород отстаивал свою погибающую свободу и славу. Не устоял он. И теперь, как бы недовольный своим насильственным существованием, недовольный тем, что не допустили его совершенно уничтожить, окончить свое существование, в котором он не находил уже славы, как не находил свободы, он не поправляется, а все хилеет и хилеет. И с почтением смотришь на эти древние остатки и жалеешь о славном, великом городе...

„...Мы оставили Новгород. Вечером выезжали мы оттуда. Окрестности города совершенно соответствовали, по крайней мне это казалось, самому городу: не знаю, отчего мне это казалось: от потемневшего ли вечера, придававшего всему какую-то наводящую скуку, сероту, или действительно так было, только окрестности эти мне не понравились: все так безжизненно, вяло, скучно; с первой деревушки можно уже забыть, что сейчас был в этом городе.—Станции менялись, менялись; мы в'ехали в петербургскую губернию. Время было прекрасное и ничто не напоминало о близости петербургского серого дождливого неба. Мы под'езжали, кажется, к Ижорам: вдали виднелось Царское Село. По обеим сторонам дороги виднелись местами вспаханные, засеянные и заросшие места, местами

было пустое поле; вот мы переехали железную дорогу в Царское Село. Петербург в первый раз явился перед нашими глазами: золотой Исаакий блестел вдали. Мы приехали на последнюю станцию: отсюда начинается аллея, которая не прерывается уже до самого города. Скоро проехали мы и эту аллею, и город встретил нас триумфальными воротами. Еще несколько времени мы ехали в городе уже, но по улицам еще не застроенным; но скоро город открылся уже как должно: проехав несколько улиц еще, мы в'ехали на двор в почтамте. Пока разбирали бумаги и имена, Николя отправился отыскивать нашу квартиру: через полчаса он воротился, и мы с ним отправились: квартира наша была на Офицерской за Большой Мастерской. Прибыли и домой: разобрались; скоро пришел Иван Григорьевич Терсинский. Я утвердился в Петербурге. Несколько дней я просидел дома, никуда не выходя: все не хотелось что-то. Наконец мы отправились с Николей в университет. Я подал просьбу Плетневу; там же встретил и Срезневского. На другой день я уж начал ходить на лекции“.

На этом Дневник обрывается.

В Петербург приехали 11-го августа (1850 г.) и направились прямо к Терсинским, которые уже ждали их и приняли сердечно, „по-родственному“. Любинька захлопоталась, как бы получше устроить и накормить „братьев“. Она произвела на Чернышевского „страшное“ впечатление (очевидно непонятая болезнь уже сильно изменила ее,—в июне 1852 г. она умерла).

Новый домашний быт ничем не заинтересовал Пыпина. Ему приятно было только увидеть свою няню, оригинальную и добрую женщину, служившую теперь у Терсинских прислугой. Она поражала его мастерством своей речи: „некогда она увлекала нас,—говорил он о ней,—своими особенными сказками, теперь я с удовольствием слушал ее живой, меткий язык, ко всякому случаю уснащенный всегда готовыми пословицами и поговорками“... „Живой“ язык, столь знакомый и столь пленявший Пыпина, остался для него самым ярким впечатлением первых дней, проведенных им в Петербурге—он эти дни безвыходно провел дома, утомившись дорогой—потому и запомнился ему так прочно самый образ этой няни. Все же прочие домашние подробности скользнули по нем бесследно: его внимание было целиком поглощено ожиданием университетских занятий.

Для этих занятий он приехал в далекий Петербург, и он предался им всем своим интересом и усердием.

Уже окончивший в то время университетскую науку „Николя“ вступил на поприще самостоятельной жизни. Он был человеком зрелых, глубоко продуманных и прочувственных убеждений.

Сашенька с ранних лет привык любить его и признавать его авторитет, но за последние четыре года видел его лишь урывками, когда тот два раза приезжал летом в Саратов повидаться с родными.

Теперь, живя с ним под одной кровлей в постоянном непосредственном общении, он всецело поддавался его обаянию и увлекался им; он поражался при этом не столько знаниями Чернышевского—к их энциклопедичности он давно привык—сколько его характером, который теперь впервые раскрывался перед ним. В этом сложном характере Пыпин старался и не мог сразу разобраться,—было что-то новое, загадочное по неуловимым, но всюду проскальзывавшим черточкам. Это казалось Пыпину столь необычным, что в письмах к давнему своему приятелю Д. Л. Мордовцеву он постоянно говорит о

было пустое поле; вот мы переехали железную дорогу в Царское Село. Петербург в первый раз явился перед нашими глазами: золотой Исаакий блестел вдали. Мы приехали на последнюю станцию: отсюда начинается аллея, которая не прерывается уже до самого города. Скоро проехали мы и эту аллею, и город встретил нас триумфальными воротами. Еще несколько времени мы ехали в городе уже, но по улицам еще не застроенным; но скоро город открылся уже как должно: проехав несколько улиц еще, мы в'ехали на двор в почтамте. Пока разбирали бумаги и имена, Николя отправился отыскивать нашу квартиру: через полчаса он воротился, и мы с ним отправились: квартира наша была на Офицерской за Большой Мастерской. Прибыли и домой: разобрались; скоро пришел Иван Григорьевич Терсинский. Я утвердился в Петербурге. Несколько дней я просидел дома, никуда не выходя: все не хотелось что-то. Наконец мы отправились с Николей в университет. Я подал просьбу Плетневу; там же встретил и Срезневского. На другой день я уж начал ходить на лекции“.

На этом Дневник обрывается.

В Петербург приехали 11-го августа (1850 г.) и направились прямо к Терсинским, которые уже ждали их и приняли сердечно, „по-родственному“. Любинька захлопоталась, как бы получше устроить и накормить „братьев“. Она произвела на Чернышевского „страшное“ впечатление (очевидно непонятая болезнь уже сильно изменила ее,—в июне 1852 г. она умерла).

Новый домашний быт ничем не заинтересовал Пыпина. Ему приятно было только увидеть свою няню, оригинальную и добрую женщину, служившую теперь у Терсинских прислугой. Она поражала его мастерством своей речи: „некогда она увлекала нас,—говорил он о ней,—своими особенными сказками, теперь я с удовольствием слушал ее живой, меткий язык, ко всякому случаю уснащенный всегда готовыми пословицами и поговорками“... „Живой“ язык, столь знакомый и столь пленявший Пыпина, остался для него самым ярким впечатлением первых дней, проведенных им в Петербурге—он эти дни безвыходно провел дома, утомившись дорогой—потому и запомнился ему так прочно самый образ этой няни. Все же прочие домашние подробности скользнули по нем бесследно: его внимание было целиком поглощено ожиданием университетских занятий.

Для этих занятий он приехал в далекий Петербург, и он предался им всем своим интересом и усердием.

Уже окончивший в то время университетскую науку „Николя“ вступил на поприще самостоятельной жизни. Он был человеком зрелых, глубоко продуманных и прочувственных убеждений.

Сашенька с ранних лет привык любить его и признавать его авторитет, но за последние четыре года видел его лишь урывками, когда тот два раза приезжал летом в Саратов повидаться с родными.

Теперь, живя с ним под одной кровлей в постоянном непосредственном общении, он всецело поддавался его обаянию и увлекался им; он поражался при этом не столько знаниями Чернышевского—к их энциклопедичности он давно привык—сколько его характером, который теперь впервые раскрывался перед ним. В этом сложном характере Пыпин старался и не мог сразу разобраться,—было что-то новое, загадочное по неуловимым, но всюду проскальзывавшим черточкам. Это казалось Пыпину столь необычным, что в письмах к давнему своему приятелю Д. Л. Мордовцеву он постоянно говорит о

своем двоюродном брате, рассказывает о его занятиях, знакомствах, о книгах, которые получает от него для чтения. „Он (Чернышевский) такой человек, которого я никогда не видал,—пишет он, да и никогда, верно, не увижу. Я не знаю, как описать тебе его характер (ты его не знаешь); еслибы где-нибудь был изображен такой характер, я бы указал тебе... Но нигде подобного я не встречал, встретил, правда, только в одном месте. Недавно читал он отрывок из повести, рассказа, или, как угодно назови это, не напечатанной и, к несчастью, лишенной возможности быть напечатанною: он говорил мне, что ее написал один из его приятелей, но я с большей вероятностью предполагаю, что писал он ее сам; все в ней его, и между прочим там был один характер, совершенно снятый с него—характер не из обыкновенных, пошлых характеров. Может быть когда-нибудь ты узнаешь его близко, хотя это трудно, не быв с ним в близких отношениях, где-б его можно узнать... Как ошибся бы тот, кто сказал бы, что нет в нем участия ни к чему; нет, в нем так много участия, что я до сих пор не могу привыкнуть видеть в нем это“.

В другом, декабрьском, письме того же 1850 года Пыпин снова возвращается к личности „Николи“, к которой постоянно направлено было его внимание. „Это такой человек,—снова повторяет он,—какого я до сих пор не видывал. А ведь давно его знаю, мог бы к нему привыкнуть еще тогда, когда вместе жили в Саратове, мог бы узнать его так, чтобы все мне было в нем известно, вполне понятно“...

Новое в характере „брата“ было тем остро-напряженным революционным под'емом, которым был проникнут теперь Чернышевский. Помимо его воли и несмотря на выработанное им уменье скрывать откровенные свои настроения, эти настроения так глубоко им владели, что при постоянном общении с ним, неуловимо ощущались чутким Пыпиным, и они то, не выраженные ясно, но распыленные, и создавали ту загадочность, о который юный Пыпин писал Мордовцеву.

В эту пору Чернышевский был всецело увлечен событиями 48-го года, перед ним проходила реакция и репрессии против литературы и университетов. а также жестокая расправа с Петрашевцами. Он горел стремлением к активной революционной борьбе и недаром отметил в своем дневнике 1848 г. „Я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока. Если бы только был уверен, что восторжествуют мои убеждения, то даже не пожалел бы, что не увижу торжества и царства их. И сладко будет умереть, а не горько“...

Зная силу своего влияния на Сашу, которому тогда минуло лишь 17 лет, Чернышевский остерегался заражать его страстностью своего революционного настроения и, знакомя юношу со всеми увлекавшими его самого сочинениями западно-европейских социалистов и утопистов, а также с Фейербахом, предоставлял ему самостоятельно разбираться в читаемом и самому вырабатывать склад своих убеждений.

Авторитет Чернышевского непрерывно выростал для Пыпина, вскоре увидевшего в нем энтузиаста-революционера, а затем передового пропагандиста-публициста, смелого и непоколебимого.

Чернышевский любовно следил за университетскими занятиями Пыпина и в письмах к родным в Саратов с удовлетворением отмечал их успешность, а когда в печати появилась первая литературная работа Пыпина о Лукине, извлеченная из его кандидатской диссертации,—Чернышевский был, повидимому, гораздо более обрадован

успехом „Саши“, чем тот сам, не покидавший своей трезвой, спокойной рассудительности даже в самые волнующие минуты.

16 августа 1853 года Чернышевский писал: „Милые дяденька и тетенька, фамилия ваша начинает прославляться в литературе: в Отечественных Записках за август месяц помещена статья Сашеньки: „Лукин“ это отрывок из его сочинения на золотую медаль. Он, конечно, напишет вам более подробностей о своем сочинении. Два—три человека, читавшие августовскую книжку, которых удалось мне встретить, очень хвалили Сашенькину статью. Но ни я, ни он сам еще не читали ее в печати“...

Чернышевский в то время уже сотрудничал в „Отечественных Записках“ и писал свою магистерскую диссертацию.

Жили „братья“ в Петербурге все время вместе, каждый поглощенный своим делом. Отношения их складывались тогда уже в прочную серьезную дружбу не как старшего к младшему, а как равного с равным, в основе этой дружбы, кроме чувства привязанности, лежало непоколебимое взаимное уважение. Чернышевский видел в Пыпине будущего ученого. Пыпин, дивясь силе знаний и одаренности Чернышевского, был предан ему всей силой своей сосредоточенной и крепкой любви. Дальнейшая судьба дала проявиться этой преданности во всей полноте.

Март 1928.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Сртаницы	Снизу	Сверху	Напечатано.	Следует читать
234	—	23 „	seteindre	s'eteindre
235	19 строка	—	sourir etriste	sourire triste
237	1 „	—	4)	5)
237	4 „	—	3)	4)
234	1 „	—	out	mon . . . .
273	2 „	—	Отрывок из материалов В Пыпина семейного архива	Отрывок из материалов семейного архива В. Пыпина.
273	11 „	—	в которой	которой
299	1 „		О-ва Краеведения,	О-ва Краеведения в 1924 г.
349	7 „	—	Finijs	Finis
350	15 „	—	proprosiuónibus	propositionibus
350	17 „	—	beotum	beatum
350	26 „	—	Senectuc	Senectus
355	15 „	—	Тацдита	Тацита
373		12 „	I том.	I томе,
373	13 „		№ 110	№ 10
377	23 „	—	в ! т.	в I т.
389	14 „		грамматики классовской	грамматики Классовского
391	6 „	—	листаи	листам
391	15 „	—	Шишковой	Ишимовой
397	12 „	—	Сочинение	Сочинения
399	5 „	—	жирналгх	журналах
400	1 „	—	долг.	долгов,
400	10 „	—	под редакцию	под редакцией
431	—	26 строка	В. Герчиков	И. В. Герчиков